# Куда ворон костей не заносит

# Сергей Снегов

Только сейчас Нина Николаевна стала понимать рискованность своего поступка. Все, что она делала, было опрометчиво — и спор с Синягиным, и неблагоразумно легкая одежда, и торопливость в сборах. Север остается севером. Она должна была это знать лучше, чем другие.

С силой отталкиваясь шестом, она взбежала на пригорочек и осмотрелась. Кругом лежала сжатая узким горизонтом тундра, типичный зимний пейзаж этих мест — снег, только снег, бледное чистое небо, озаренное тусклым сиянием шедшего под краем земли солнца, силуэты гор, далеко и неясно встающие на юге.

Ни дыма, ни кустов — один снег.

Ей вдруг показалось, что никогда она еще не видела ничего более красивого, чем это угрюмое, полуосвещенное далеким радужным сиянием, тонкое небо зимнего полудня. Почти очарованная, она смотрела вверх, запрокинув голову. В небе была торжественная тишина, какая-то исполинская ясность, сумрачный широкий свет. Нина Николаевна вздохнула и откинула с лица платок. Неяркие звезды скупо висели над тундрой. Был точный астрономический полдень, почти час дня по государственному времени. Ветер тянул с северо-востока.

Она снова и снова, до боли в глазах, всматривалась в равнину, распростертую к северу, в каждый бугорок, в каждое неясное пятнышко. Все было таким же, как представилось в первый раз и как неминуемо должно было быть.

Именно об этом говорил Синягин.

Он сидел у стола и хмурился, он был встревожен и недоволен.

— Боюсь, вы скоро раскаетесь, Нина Николаевна! — сказал он сердито. — Вы отлично бы сумели дать свои советы по рации. Поверьте мне, погода вовсе не так прекрасна, как вы воображаете. Я этих ясных декабрьских дней страшусь не меньше, чем туч и снегопада — они не для дальних походов.

— Вы и вправду считаете, что я имею моральное право спокойно отлеживаться в ваших теплых палатках? — спокойно спросила она, и на такой простой и прямой вопрос он не набрался духу ответить просто и прямо.

Он молчал, и она молчала. Он смотрел в сторону, она на него. Он не вынес ее взгляда и сумрачно проговорил:

— Запрошу вертолет.

Радист экспедиции связался с Ленинском. Два вертолета были в ремонте, три на дальних точках, раньше, чем через неделю, ждать машины не приходится. Разумеется, если случай не чрезвычайный, оговорили из Ленинска, при тяжелых обстоятельствах, — несмотря на полярную зиму, могли вызвать машину издалека. Случай был, по описанию, не чрезвычайный, такие происшествия нередки в каждой экспедиции. Оленья упряжка, приближавшаяся к стационарной поисковой партии Николая Угарова, разместившейся на станке Весеннем, чего-то испугалась и понесла. Каюр, молодой эвенк, не справился с двумя быками и важенкой, и геологи выскочила на его крик. Упряжку удалось остановить, но погонщик выпал на повороте и расшиб щеку и лоб, а Угарову достался удар копытом по ноге. «Смастерили Николаю костыль, кое-как передвигается», сообщил метеоролог Лукирский по рации. «Опасности вроде бы нет, но опухоль здоровая и пока не уменьшается». Эвенку тоже сделали перевязку и, на всякий случай, задержали на несколько дней на станке. От вызова вертолета из Ленинска Угаров решительно отказался.

И хотя инженерно-разведывательная экспедиция Синягина была раз в десять ближе к станку Весеннему, чем Ленинск, Нину Николаевну никто бы не упрекнул, если бы она ограничилась советом по радио. Давать по радио деловые медицинские советы Николаю Угарову она не могла. Человек, в течение восьми лет бывший ее мужем и сейчас попавший в беду, имел право и на более горячее участие, чем деловые советы при помощи радиста. Синягин понимал это не хуже нее.

— Вас могло и не быть у нас, Нина Николаевна, — сказал он все же с почти официальной сухостью. — Зимние командировки врачей по экспедиционным точкам, как известно, не планируются. Все наши разведчики, в принципе, народ крепкого здоровья и с врачами встречаются больше за столом, чем в палатках.

— Но я здесь, — сказала она ласково. — И отменить этого факта вы не можете. А на расстоянии в сорок километров от нас два травмированных человека нуждаются в медицинской помощи. Добавлю к тому, что с одним из них меня связывают особые отношения, и он очень мне дорог.

Синягин использовал последний аргумент:

— Травмы не очень серьезны, вы сами это слышали. Причина поездки не оправдывает риска.

На это она ответила с непреклонной твердостью:

— Разрешите мне самой определять, какие травмы серьезны, а какие нет. Арктика не юг, здесь раны заживают плохо. И опухоль у Николая большая и не спадает, мы это тоже слышали.

Синягин что-то мысленно прикидывал, оглядывая рассеянным взглядом пустые койки геологов в палатке. Она усмехнулась. Все члены экспедиции были завалены срочной работой, ни одного он не смог бы выделить ей в помощники. И она не нуждалась в помощниках. Она ходила на лыжах лучше всех этих розовощеких, добрых бородатых парней. Лишь сам Синягин и Смородин могли бы обойти ее в тундре. Дорога на Весенний была ей знакома не хуже, чем самому Синягину.

— Нет, — cказал он, подумав. — Ни одного не могу оторвать от дела. Николай сам не простит мне, если я без его разрешения начну ломать график работ... А разрешения он не даст.

Она сказала спокойно:

— Игорь Евгеньевич, если бы я была мужчиной, вы отпустили бы меня?

— Конечно! Ни минуты бы не задумался.

— Тогда скажите, кто из ваших мужчин дольше меня живет на севере и больше меня изучил северную зиму?

Он смущенно молчал, и она добавила:

— Не сомневаюсь, Николай запротестует. Но как вы думаете, ваш друг Андрей простит мне, когда узнает, что я была рядом с другим вашим другом Николаем, и тот нуждался в моей помощи, а я помощи не оказала?

На этот раз удар был безошибочен. То, что Синягин вышел из себя, было признаком хорошим. Отказывая, начальник экспедиции предупредительно улыбался, а против воли соглашаясь, не сдерживал раздражения.

— Да, друзья! — закричал он. — И Андрей, и Николай. Но мне, мне! А вам один из них — муж, а другой — бывший муж! И почему так получилось, судить не мне. — Он сердито замолчал. Она тоже молчала. Она знала, что возражать он больше не будет. Он хмуро сказал, вставая — Еще раз свяжусь с Весенним. И если Лукирский передаст, что в трехстах километрах от их станка замечена хоть одна тучка, вы останетесь у нас.

Метеосводка была отличная. Очередного циклона раньше недели не ожидали. Нина Николаевна встала на лыжи. Синягин проводил ее до холма, откуда начинался пологий спуск на равнину. Прощаясь, она засмеялась:

— Думаю, все-таки, что мой муж скажет вам спасибо за то, что вы отпустили меня к моему бывшему мужу. Не забывайте, что между собой они тоже друзья. И будьте спокойны: я приду до темноты. И в палатке у Лукирского мы посмеемся над вашими страхами.

— Я не забываю другого: что север это север, — сказал он озабоченно. — Вы молодец, Нина Николаевна, но прошу вас, будьте осторожны. Первую половину пути идите быстро, потом не торопитесь. Захотите отдыхать, разведите костер. Думаю, впрочем, вы дойдете и без отдыха, но не раньше ночи.

Этот разговор вспомнился ей, когда она стояла на пригорке и всматривалась в даль.

Она еще раз вздохнула. Через час начнет темнеть, через два часа она будет идти по звездам, без всяких земных ориентиров. Она и сейчас почти ничего не видит, а пробежав еще десяток километров, начнет тыкаться в разные стороны, как слепой котенок. Кроме того, она плохо знает эту часть пути, место это в ее памяти стерто, как линии на старом чертеже. Где-то за этим горизонтом должно быть озеро, километра в три длиною, метров в двести шириною, затем невысокие холмы, затем равнина, речка Громкая и станок Весенний, где лежат ее больные. Три-четыре часа хорошего бета и она доберется. Но достанется ей это нелегко, нет!

В конце кондов, если говорить честно, она совершила один-единственный просчет, не учла только одну возможность из тысячи. Лукирский передал из Весеннего, что погода предвидится тихая и ясная, ординарный антициклон, мороз градусов сорок пять. Вначале все шло точно по сводке. Но за линией озер начался ветер с северо-востока, маленький ветерок, метра три в секунду, слабое дуновение, ползшее над холмами.

В розе ветров северо-восточный ветер представляет самый редкий, самый скверный из всех зимних воздушных потоков их района. Она учитывала все — мороз, трудности пути, потерю ориентиров, случайные помехи. Ей выпала самая редкая случайность. Когда ветер с востока коснулся ее щек и оледенил лыжные брюки, сделав их жесткими, как брезент, она сразу поняла, что смеяться над опасениями Синягина не придется.

Нина Николаевна стукнула лыжей о лыжу и в последний раз оглядела тундру. Полдень, максимальная видимость: пустыня снега внизу, пустыня радужного сияния и редких звезд наверху.

Она скатилась с пригорка и, широко размахивая руками, пошла дальше.

Теперь она шла навстречу ветру, и скорость его увеличилась с трех до шести метров в секунду. Ветер легко проходил сквозь полушубок и брюки и обжигал тело так же свободно, как обжигает его сквозь неплотную одежду зажженный неподалеку костер.

Самым удивительным было то, что она не ощущала на ногах валенок, как если бы их и не было. Это, собственно, было первым, что она открыла, удалившись на несколько километров от дому. И ей следовало думать об этом, заранее — старожилы ходят в унтах не напрасно, они все твердят, что в холодные ветры середины зимы валенки почти не защищают ног, превращаются в пористую массу, пропускающую воздух так же просто, как решето воду.

В прошлую пургу, когда она чуть не отморозила ноги в новых валенках, она убедилась, что многое в этих рассказах — правда. Сейчас, чем больше она ускоряла бег, тем холоднее становилось ногам и телу. Ей временами начинало казаться, что она бежит уже босая, не в шерстяных носках, а в шелковых носочках, не в рейтузах и лыжных брюках, а в легком платьице — так легко охватывал ее тело ветер с северо-востока. Это было удивительно и противоречило законам физики. Работа не переходила в тепло. Ветер перекрывал усилия ее мышц.

По привычке на бегу осматривая окрестности — без того, чтобы на чем-либо остановить внимание — она мысленно переносилась на Весенний, где между палатками теперь попрыгивает Николай, опираясь на самодельный костыль, и незнакомый эвенк терпеливо ждет, пока ему сделают последнюю перевязку и отпустят. Синягин хотел сообщить на Весенний, что к ним вышла Нина Николаевна, но она попросила не делать этого, — желала явиться неожиданно. Вероятно, это тоже было опрометчиво. Она усмехнулась и подумала, что поступила правильно. Как бы всполошился Николай, как бы встревожился Лукирский! Энергичный, взбалмошный метеоролог и астроном экспедиции помчался бы ей навстречу, чтобы перехватить около озера. А Николай сидел бы в палатке, сжимая руки, нервничал, волновался... И радовался, что увидит ее!

Нет, и вправду, обрадуется ли он ее приходу? — спросила себя Нина Николаевна. И уверенно ответила: да, обрадуется, сомнений нет! Горечь разлуки растаяла, в прошлом году он женился вторично, он счастлив, у него чудесная жена Олечка, они с первой минуты встречи стали друзьями, она и Олечка. И разве Николай не благодарен им обеим, Оле и Нине, что они подружились, у него были влажные глаза, когда он повстречал их. Они шли, обнявшись, он сказал тихо, он всегда говорит тихо, когда волнуется: «Это так здорово, милые мои, так здорово!» Были, были тяжелые дни, когда их совместная жизнь распадалась, Николай мучился, она тоже мучилась, уход друг от друга дался им нелегко. Любви не было, они принимали за любовь взаимное уважение и дружбу, но пришло время и пришлось признать, что нет любви, зато тем сильней будут дружба и уважение. Ах, все неверно, была любовь, только не та, что у нее с Андреем, любовь большой, сердечной дружбы, так бы надо назвать то, что было, да, самое правильное название — любовь дружбы!

И любовь эта не стала меньше от того, что они разошлись, она даже стала прочней, ее освободили от несвойственной ей близости, от семейных тягот, ее, как неправильно растущее деревце, подрезали, отсекли ненужные ветки, она, переболев какое-то время, возродилась в новом, подлинном своем облике. Он обрадуется, Николай, когда увидит ее, он воскликнет с восторгом: «Нина!» — протянет ей руки, с благодарностью обнимет, расцелует в обе щеки. А как она сама обрадуется, хотя неожиданного в этой радости нет, она и тревожится за раненых и готовится к радостной встрече с друзьями с той минуты, когда Лукирский передал о несчастье и заверил, что опасности нет, все сравнительно благополучно. Нет, нет, она правильно поступила, что вышла на их станок, любая травма опасна на этих суровых широтах: тот же Лукирский признался, что опухоль не уменьшается. И без настоящей врачебной помощи им не обойтись, надо будет проверить, не повреждена ли кость. Она осмотрит раны, наложит свои повязки, будет сидеть в теплой палатке, пить горячий чай, слушать длинные разговоры Лукирского, — вот уж веселый, милый болтун, — откликаться на короткие усмешливые реплики Николая. Может, явится Ергунов, тот еще говорливей’ Лукирского — просто быть с ними, смотреть на них, радоваться, что они тут, что можешь им помочь!..

А всех больше обрадуется Андрей, когда узнает, что она не связала себя формальными советами по радио, а побежала без долгих раздумий к Весеннему. «Странные они у вас!» — сказал ей как-то Синягин, и она со смехом ответила: «Вот и хорошо, что странные!» Нет, а почему странные? Только такими и надо им быть! Они были друзьями до ее ухода от Николая, они остались друзьями и после того, как она вышла замуж за Андрея. Николай два долгих года не мог ей простить измены, он со злости именно таким словом назвал ее поступок, он отворачивался, когда видел ее, переходил на другую сторону улицы при встречах... Все было — и слезы, и упреки, и негодование, и скорбь... Но Андрею он сразу сказал: «Тебя не виню, я сам влюбился в Нину, могу понять тех, кто в нее влюбляется, а ей не прощу!» Андрей — он все подробно ей потом рассказал — возразил: «Почему не простишь? Считаешь, что я такой плохой?» Николай рассердился: «Ты человек хороший и сам это знаешь. Но разве я плохой? Вот на что мне ответь — чем же я плохой?»

Лишь через два года после того, как родилась Наденька, он встретил Андрея с дочкой на улице, взял Наденьку на руки и торжественно объявил: «Вылитая мать!», и грустно признался, прощаясь: «Что же, Андрей, может, так и лучше, у нас ведь детей с Ниной не было».

А недавно появилась жена Оленька, и скоро у них будет свой ребенок. Николай теперь и сам радуется, что старая жизнь переломилась. Нет, Андрей похвалит, что она побежала на Весенний, он обнимет ее и со смехом воскликнет, как уже не раз восклицал: «Ты у меня чудесный парень, Нина, добрый и смелый! Я очень горжусь тобой!» Все будет хорошо! Если бы не проклятый ветер с северо-востока, легкое дуновение, самое редкое и самое скверное направление в тундровой розе ветров, она бежала бы, напевая песни. Отличный наст, не слишком большой мороз, ясное небо, ясные дали, ровная как скатерть тундра — чего еще желать? Мерзкий ветер с северо-востока внезапно превратил обычный бег в тяжелое испытание! Сейчас не сладко, дальше будет трудней, пока она не достигнет озера.

Она побежала еще быстрее, с силой ударяя шестом в крепкий как камень снег. Она отогреется после у печки. Ей придется помучиться от холода, но она не замерзнет. Невозможно замерзнуть, пока в тебе есть силы двигаться, пока ноги быстро и упруго перебрасывают вперед твое тело, пока руки твои свободно и сильно сжимают шест.

На новом бугорке она опять остановилась и осмотрелась. Озерка еще не было видно, и радужные блики в небе стали бледнеть. Небо из неясно-голубого становились неясно-серым. Только на юге, на линии далеких гор, краски усиливались. Вся южная часть неба была охвачена красным сиянием, похожим на отблеск исполинского пожара. Это сияние росло и отчеркивало сумерки остальной части небосвода. Нина Николаевна вспомнила свое обещание до темноты прибыть на место и невольно усмехнулась. В декабре на семьдесят третьей параллели день длится, самое большее, два часа. Если она пробежит до наступления полной темноты половину пути, это уже будет хорошо.

— Ничего, абсолютно ничего! — сказала она вслух, и звук ее голоса показался ей настолько странным и неуместным среди вечной тишины снегов и высокого неба, что она невольно оглянулась, как будто ее восклицание должно было произвести какое-то действие.

Потом она потерла лицо и щекой, освобожденной от платка, обернулась к ветру. Ветер усиливался. Когда она побежит, его скорость дойдет до десяти метров. Она оделась слишком легко. Она одевалась для бега, а не для борьбы с ветром с северо-востока, почти немыслимым для этих мест в декабре. Синягин заботливо посоветовал: «Наденьте еще одну меховушку, Нина Николаевна!» Она рассмеялась: «Идти на лыжах окутанной паром, как облаком, да?» Восемь лет назад они вдвоем с Николаем пробежали девяносто километров в январе по ту сторону хребта Путорана — и хоть были в легких меховых костюмах, чувствовали себя как в парной. Правда, ветер с северо-востока не дул. Да, только этой одной возможности она не учла, и осторожный Синягин об этом тоже не вспомнил, а надо было подумать и об этом: сюда, в эти сверхотдаленные места Макар телят не гоняет, и ворон костей не заносит, а ветерок залетает всякий. Лукирский любит говорить о таком ветерке: «Железное дыхание полюса недоступности».

Она вдруг громко рассмеялась. Она вспомнила, как Андрей, между инженерными своими делами, писал поэму о полюсе недоступности. Он начал ее торжественно и хмуро:

Сюда Макар телят не пригонял,

И вороны костей не заносили.

Здесь раки не зимуют.

Нежный рак. Предпочитает юг...

Когда задувает ветерок с северо-востока, вся тундра становится похожей на полюс недоступности, откуда он вырывается...

— Скоро озеро, а за ним будет легче! — вслух сказала она и оттолкнулась лыжными палками.

Она продолжала идти с прежней энергией и быстротой, хотя ей казалось, что у нее уже не только ноги босые, но и вся она до пояса нагая. Это было почти непостижимое ощущение. Стоя, она ощущала полушубок, шерстяные рейтузы, лыжные брюки, потерявшую гибкость ткань валенок. Ей было холодно от прикосновения остывшего белья к коже тела, но самое это прикосновение показывало, что она одета. А при беге ощущение одежды пропадало. Дело было не только в том, что становилось значительно холоднее. Было совсем по-другому холодно.

Одежда переставала быть своей, переставала слушаться движений, складываться в складки. Она становилась куском внешнего мира, таким же, как куст, камень, сугроб снега. Столкновение с ней вызывало чувство озноба. Нина Николаевна чувствовала, что кожа на всем ее теле холодеет. Вместе с тем она не дрожала. Она знала твердо, что никогда в жизни ей не было холодно, как сейчас. А дрожи не было.

— Так холодно, что даже дрожь замерзла! — подумала она удивленно. Когда она встретится с Синягиным, именно этими словами она обрисует свое состояние. Он, конечно, рассердится, будет запоздало корить ее. А Андрей расстроится, ему нельзя признаваться, как вдруг стало плохо в пути. И Николаю не сказать. Лукирский бы посмеялся: «Молодец! Такие, как вы, Ниночка, и в огне не горят — где же вам замерзнуть?» Когда-нибудь она расскажет Лукирскому — позже, в Ленинске, в теплой квартире, на их третьем этаже.

Сейчас она уже не могла идти с прежней быстротой. Короткий дневной рассвет окончился, из сгущавшейся темноты неясно и дико выступали валуны, покрытые снегом, и уклоны холмов. Чаще приходилось останавливаться и осматриваться. Прямо над головой, чуть склоняясь к северу, висела Полярная звезда, а в стороне блистали неяркие звезды Кассиопеи. А далеко на юге, невысоко поднимаясь над горами, переливались красноватыми огнями верхние звезды Ориона.

Определив направление, Нина Николаевна снова шла на север, напряженно вглядываясь в распростертое перед нею пространство сероватого снега, мерцающего отраженным светом звезд. Но с каждой минутой становилось все труднее видеть, тьма быстро спускалась на тундру, и приходилось вытягиваться вперед всем телом, всматриваться, скорее угадывая, чем замечая.

И мало-помалу ею стало овладевать уныние. Пока было видно, она не замечала своего одиночества. Но сейчас, в темноте, среди пустынного снега, под тусклыми звездами, она почувствовала себя бесконечно одинокой и заброшенной. Она вдруг ярко ощутила огромную длину пройденного пути и путь, который еще предстояло пройти. Это были километры, длинные километры, позади нее, с боков, впереди, километры пустого снега и леденящего ветра, и на этих неисчислимых километрах она находится одна — единственное, может быть, живое существо на всем этом пространстве.

Она враждебно посмотрела на небо. До звезд миллиарды километров, десятки световых лет пути. Сейчас Нина Николаевна с пугающей отчетливостью почувствовала всю безмерность расстояния, отделявшего землю от звезд. Кругом была пустота, и на другом краю этой зловещей пустоты плавали кусочки и капли тускло светящегося льда — звезды. А земля, на которой Нина Николаевна была не больше, чем песчинкой, сама была только песчинкой, невидимым атомом в черной пустоте вселенной. И впечатление ничтожества земли и еще большего ничтожества ее самой на затерянной в пространстве маленькой земле было так страшно, что Нина Николаевна вдруг закрыла варежкой глаза.

Через некоторое время идти стало легче. На западе вспыхнули длинные струи огня и стали шириться и охватывать все небо. Они мчались, нависали над тундрой, рассыпались тысячами синих, желтых и красных стрел, превращались в гигантскую бахрому. Тусклые звезды совсем исчезли в разливе полярного сияния. Темное, неверное освещение легло на тундру, из черноты стали выступать странно преображенные, призрачно близкие предметы.

Когда первая вспашка сияния прошла через все небо и потерялась в черноте далекого востока, несколько минут опять было совершенно темно. А потом на многих участках неба выступили желтые и фиолетовые облака и пятна, они бежали по запутанным кривым, то усиливались до пламени, то тускнели и стирались, опять распадаясь в клочья и нити. Небо словно трясли, и оно осыпалось сияющими лохмотьями, как осенью лиственница осыпается рыжей хвоей.

При свете сияния опасность падения в яму или столкновения с валуном уже не грозила. Но Нина Николаевна шла еще медленнее. Уныние, охватившее ее, понемногу превращалось в страх, страх становился отчаянием.

Она чувствовала, что силы падают. Долгий путь не пугал, она была вынослива, но терзала мысль, что она замерзнет. Страшный враг человека, странствующего в полярной пустыне, более грозный, чем мороз, более злобный, чем рысь, более коварный, чем покрытое зелеными травами болото, — неуверенность в себе — вступил в борьбу с решимостью идти.

Она упрямо подавляла чувство нарастающей паники, заставляла себя идти, ровно дышать и ни о чем другом не думать, кроме того, что нужно идти и идти во что бы то ни стало, как бы это ни было трудно, — идти. Она шла и шептала слова, в которые даже не вслушивалась, но которые необходимо было шептать, гневно кричала на себя, если спотыкалась. Это был испытанный способ, он помогал держаться. Но от непрестанной борьбы с самой собой она больше уставала, чем от ветра и трудной дороги.

Временами от слабости она спотыкалась на ровном месте, кривила путь, неясно мерцающий отраженным светом. Все, что занимало ее недавно: странные картины дикой тундры, исходившее сиянием небо — все это исчезло, словно его и не было, и все заменилось единым ощущением опасности и бессилия.

На каком-то холмике она заскользила под уклон и упала в снег. Она не помнила, сколько времени поднималась. Но помнила потом долго, что этот подъем был самой мучительной работой, какую ей когда-либо приходилось выполнять, что только стиснув зубы, запретив себе даже думать о чем-либо, все душевные силы вложив в приказание: «Встать! Встать!», она сумела подтянуть уже почти не слушавшиеся ноги, опереться на руки и — встать. Поправив лыжи, мешок, растирая лицо, она сказала себе, глухо и отчетливо, словно это была не она, а другая, обессиленная и готовая замерзнуть, женщина и ее нужно было убедить решительными словами:

— Я дойду! Слышишь, я дойду!

Но не пройдя и нескольких сотен метров, она убедилась, что никуда не дойдет.

Нина Николаевна помнила, что почти на середине пути, чуть ближе к станку Весеннему, должно лежать узкое озеро с крутыми берегами. Когда озеро не открылось до наступления темноты, она, не думая над этим особенно, решила, что оно осталось в стороне, скрытое темнотою, и теперь далеко позади. Но выйдя на лед этого черного, отполированного ветрами озера, зловеще и ровно раскинувшегося по обе стороны, ее пути, она поняла, что все усилия будут напрасны, — оставшиеся пятнадцать километров не пройти. Отчаяние на какое-то короткое время уступило место слепому ужасу. Она бросилась вперед, разгоняясь на ровном льду и задыхаясь от резко усилившегося ледяного ветра. Она бежала с исступлением, словно спасалась от чего-то страшного, что гналось за ней. Обессиленная, она подошла к другому берегу и устало поднималась на него, останавливалась, стояла, ни о чем Не думая, хоть ей казалось, что она о чем-то напряженно и упорно думает, снова тихо и устало шла.

— Что же делать? Что же делать? — спросила она себя громко, но апатично, словно это сказал кто-то, шедший около, равнодушный к тому, что она попала в беду.

И по привычке осматривая предметы, сумрачно и неясно выступавшие в сиянии неба, она так же тихо шла, автоматически проделывая нужные движения, чтобы не окоченеть. Она о чем-то думала, но не знала, о чем, мысли шевелились в ней, но не доходили до сознания. Она передвигала ноги, ударяла шестом в снег, поправляла платок, растирала лицо, но все это делала вяло и бессильно. Ей даже становилось легче. Острое чувство холода замирало и превращалось в усталость. Ей хотелось присесть, отдохнуть, подумать минуты две — потом она сможет снова идти.

«Я замерзаю», — подумала она спокойно и отчетливо.

И когда перед нею в потоках низвергающегося из глубины неба синего и желтого света встали рога оленей, чумы, расставленные в строгом порядке нарты, она даже Не удивилась и не обрадовалась. Она подошла к ближайшему чуму, замерзшими неловкими руками отстегнула лыжи, подняла полог и поползла внутрь.

В чуме было дымно и тесно. Посреди горел огонь, в пепле плясали огоньки. Она разглядела старика-эвенка с длинным замкнутым лицом, маленького мальчика, с любопытством, восторженно рассматривавшего ее, и спальный мешок или полог — из него высовывалась женская голова с длинными волосами и испуганными блестящими глазами.

— Я иду к Весеннему, совсем замерзла, — сказала Нина Николаевна, не то сообщая, не то жалуясь.

Эвенк внимательно оглядывал ее, куря трубку.

— Трись, товарища, крепко трись, совсем белый! — сказал он сиплым бесстрастным голосом.

— Обморозилась? Лицо? — спросила она так же бесстрастно и тихо.

— Совсем крепко белый! — подтвердил эвенк.

Она с трудом, несгибающимися пальцами, достала с пола слегка подтаявший снег и стала растирать лицо. И с каждым движением она словно оживала, возвращалась из какого-то далекого и страшного сна в мир реальных предметов и событий. Ноги она растирала уже не устало и медленно, а с ожесточением — белая кожа ног испугала ее.

И хватая все новые и новые пригоршни снега, она не выпускала их из скрюченных обмерзших пальцев, пока они не превращались в струйки ледяной воды, растекающейся по краснеющему телу. Совершенно не стесняясь мальчика и старика, с немым сочувствием следивших за ее движениями, она сбросила лыжные брюки и растирала тело выше колен, бедра, живот, все места, где чувствовала онемение. Мальчик, чтоб ей было светло, раздувал потухший огонь и перебрасывал в ее сторону горячий пепел.

Но чем сильнее она растирала себя, возвращая жизнь в тело, тем сильнее возобновлялось уже почти утраченное чувство холода. Теперь тело, сводимое и дергаемое болью, испытывало такой чудовищный озноб, какого она не знала даже на ветру. И это чувство холода, жгучей боли озноба было таково, как если бы она выставляла себя совершенно нагую на ветер и мороз.

У нее не хватило сил растираться дальше. Застонав, корчась от холода, она подползла к очагу и жадно, всей кожей втягивала в себя его умирающую теплоту.

— Мне холодно, мне очень холодно, — пожаловалась она хозяину. — Положи в костер мха или веток.

Но эвенк покачал головой.

— Нельзя делать такой, — сказал старик строго. — Ты тундра живешь, сама понимаешь: великий грех огонь даром гореть. Огонь кушай варить надо, огонь даром гореть не надо.

— Но я же замерзаю, это же не даром, ты меня спасешь, — молила она, полная возмущения.

— Ложись жена, согревай! — коротко сказал эвенк, указывая на мех, откуда выглядывала женская голова с блестящими глазами.

Нина Николаевна в отчаянии смотрела на хозяина. Он сидел бесстрастный и непреклонный, шевелил ногой пепел, потом придавил его камнем, чтобы в нем сохранился к утру жар — спички в тундре отсыревают и всякий хозяин стремится сохранить огонь, чтобы не разжигать его вновь. Она знала, что уговоры будут напрасны, и не могла сдержать слез. Закон тундры суров. Огонь, питаемый мохом, добываемым из-под снега, и ветками случайных кустиков, встречающихся кое-где в защищенных от ветра впадинах и долинах, разводится только для самого необходимого — для варки такой пищи, которую нельзя есть сырой. В тундре зимой нет ничего более нужного, чем огонь, и пустая трата его есть грех и преступление.

Как русский крестьянин не бросит землю и не растопчет ногой хлеб, своего кормильца, так нганасан или эвенк не истратит без необходимости огонь, питаемый мохом — хлебом его оленя. Для обогревания служат меховые пологи, спальные мешки, плотно сомкнувшиеся в мешке тела. Всего этого достаточно против любого холода.

— Что же мне делать? — спросила со слезами Нина Николаевна.

— Раздевайся, ложись жена, мигом согревай! — повторил хозяин.

Нина Николаевна с содроганием посмотрела в сторону мешка. В чуме становилось темно, и она уже не видела лица, выглядывавшего из мешка, и только глаза, светившиеся глубоким черным блеском, смотрели на нее со страхом и интересом. Она подумала о грязи, которая может быть в спальном мешке, и ее охватило отвращение.

— Раздевайся, товарища, ложись, — сурово повторил эвенк. — Утром идем горы на стойбище.

Молчаливая и подавленная, Нина Николаевна сидела у прикрытого тяжелым камнем жара и сжимала себя руками, словно только эго могло ее согреть. Когда она решилась, в чуме было уже совсем темно, и она не видела ни мальчика, ни бесстрастного старика, ни блестящих глаз глядевшей на нее женщины.

Одно странное явление поразило ее: оставаясь почти нагой в холодеющем чуме, она не испытывала большего холода, как будто дальше было мерзнуть невозможно.

Она услышала резкое гортанное восклицание, чьи-то сильные руки схватили ее пальцы, потянули их. Большое мягкое тело прижалось к Нине Николаевне и стало передавать ей, свою теплоту. И, не спрашивая ее, молча, деловито женщина, лежавшая рядом с ней, через каждые пять-шесть минут переворачивала Нину Николаевну с боку на бок. И от всего ее тела, от мягких стенок мешка, от наполняющего мешок воздуха шло непрерывное спасительное тепло, ровное и спокойное.

Ей не стало легче. Ей стало хуже. Казалось, огромный холод, оледенивший все ткани, все кости и жилы, изгоняемый наступающим на него со всех сторон теплом, выступает наружу и еще больше студит кожу, чем раньше студил, наполняя тело. Дрожь, которая не мучила в самые тяжелые минуты окостенения на ветру, теперь охватила тело, как налетевший порыв бури.

— А-а-а! — стонала Нина Николаевна, стуча зубами.

А потом дрожь стала затихать, и уже не со стороны, а в самом теле появилась проникающая сквозь успокоившуюся кожу пьяная, все отпускающая теплота.

Затем все стало путаться, она увидела палатку геологов в Весеннем, весело орущего Лукирского, к ней протянул обе руки Николай, воскликнул изумленно и радостно: «Ниночка, ты? Неужели ты?» И еще некоторое время, прежде чем она перестала что-либо чувствовать, охваченная крепким, как смерть, сном, ей казалось, что она плывет в лодке по узкому угрюмому озерку, по воде ходят высокие волны, и лодка приятно покачивается из стороны в сторону.